

ПОЛУДЕННЫЙ ЖАР

Жаркий день, вся дворня на покосѣ, усадьба кажется брошенной, — во всей усадьбѣ только я и дурочка Глаша. Она гостит у нас, теперь сидит под раскрытым окном людской, обращенной задом к солнцу, темной, полной мух и оттого, что в ней пекли утром хлѣбъ, очень жаркой. Сидит и что-то говорит: часто сидит так до самого вечера и все говорит, вслух думает. Я вышел из дому, — увидав меня, кличет к себѣ:

— Папаша, поди-ка ко мнѣ. Поди, не бойся.

Я вхожу в тѣнь от избы и сажусь под окном на скамейку.

— Чего-ж мнѣ бояться, Глаша, я не боюсь.

Она качает головой:

— У, дурак, дурак. Как же не бояться? Я глупая, убогая, а спокон вѣку боюсь. Все думаю, все бѣюсь. Прежде лежала сколько лѣтъ, а он меня в телѣжкѣ возил...

— Кто возил?

— Оська возил, сирота, отрок Божій, первый вор был на всѣх ярманках, потом, сказывали, в острогѣ в Задонскѣ сидѣл. Я, бывало, лежу, а он меня везет, по всѣм деревням впричѣтъ кричит, милостинку на меня просит, а я лежу, я, мол, убогая, безногая. Мнѣ не Бог ножки отнял, я сама отлежала их, сама в телѣжку легла, а то кто-ж бы мнѣ дал, кто милостинку сотворил? Никто бы не дал, дур и так на свѣтѣ много, жадные, папаша, много, а народ, он жадный. Она всѣ, мужики-то, жадные, всякому жалко с копейкой разставаться, а корку-то, он ее блажѣй цыпленку размочит, цыпленка своего напитает. Я и лежу, а он кричит, по полям, по деревням меня везет, по ярманкам. По ярманкам хорошо бывает, народ гамит, карусели летят, музыка, колокольчики, по церквам трезвон. не то что в полѣ, там-то и есть самый страх и жар.

— Какой страх и жар?

— У, дурак, дурак. Какой-же бывает жар? Полуденный жар, в какой Еву полуденный бѣс искусил. А как бросил Оська меня возить и телѣжку себѣ взял, я сама, папаша, стала просить, сама стала ходить, меня теперь всѣ знают, всѣ почитают, на станцію приду, жандар честь отдает, буфетчик чаем угощает. А по полям, по степям, нѣту там, папаша, живой души, одни видѣнія.

— Что ж тебѣ видится?

Задумалась, стала говорить, глядя в даль:

— В церковь вѣнчать привезли меня, папаша. Жених высокий, лютый, а красивый, заглядѣнье. Заглядѣнье, до чего хорош!

Свѣчи зажгли, вѣнцы на нас надѣли. Народ стоит, а никто ничего не говорит. Боятся, папаша. Боятся. А на мнѣ будто портки черныя, прижак черный, я и рада, хорошая стою. Рада, веселая...

— Ну и что ж? Перевѣчали вас, а потом?

Она очнулась от задумчивости:

— У, дурак! Нешто можно спрашивать? Он блуд со мной сотворил, а у меня сердце зашлось, я аж пѣтухом закричала от той ужаси, проснулась и вся трясусь, плачу, рѣдую, а на меня ангелы крыльями дуют со всѣх сторон, ничего не видать, темь, погреб, а я вижу, как они бѣдѣются, вихрем выются округ меня... У, дурак, дурак! — ласково и восторженно сказала она грубым голосом и захохотала диким, блаженным хохотом. — А ты говоришь: не бояться! Как же не бояться?

Успокоившись, опять заговорила задумчиво:

— Да, вот он Преподобный был, а как погибал! Он святой был, Серафимом звали, ангелом, а сперва простой будильщик был. Была там обитель в лѣсу, а он монахов будил: «Вставайте, вставайте, душу не проспите!» По ночам их будил. Семь лѣтъ будил, послушанье нес, потом дьяконом сдѣлали. А то все будил: вставайте, мол, — бѣсы на вас по кельям глядят, глазами горят, дышают-какают. А как дьяконом стал, еще пуще страсти натерпѣлся. Выйдет, выйдет к народу, поднимет орарь, хочет возгласить, а нѣтъ, ничего не может закричать. Стоит, молчит, во всѣ глаза смотрит. Народ стоит, ничего не видит, а он видит, и то в жар его кинет, то в чистый мороз: то красный как кумач сдѣлается, то как снѣг бѣлый. Да. Народ молчит и он молчит, только одно видит: по всей церкви ангелы служат, по воздуху плывут, кадилами, дымом машут, грозой сверкают, ризы бѣлыя, крылья бѣлыя... Я тогда у батюшки гостила, он все мнѣ сказывал, по книжкѣ читал. Как пьяный, так читать. Без умолку читал!

— У какого батюшки?

— У, как же не знаешь? У отца Федора, Успенье Пресвятой Богородицы. Церковь Успенья Царицы Небесной! И Она, милый, тоже померла! Померла, папаша! И у него сын помер, от чухотки погиб, отец пьяница и он пьяница был. Вошли, а он на диванѣ лежит, закатил глаза, за рубашку себѣ сгреб, за грудь и только пѣну с губ пускает. Матушка вошла, поглядѣла — дышит, мол, ай уж нѣтъ? Нѣтъ, папаша, ничего не дышит! Царство Небесное! Заплакала, залилась, чего ж вы, кричит, в больницу не съѣздили. А батюшка на насѣкѣ был, рой огребал, а он один в горницѣ лежал на этом диванѣ... Потом раздѣли всего, на пол стащили, пришли старухи с горячей водой, с ведрами, стали его мыть, а он лежит, — худой лежит, папаша, бѣлый весь, как пшеничная мука бѣлый, голый. Потом рубашку на него крахмальную надѣли, на стол в ней положили, совсѣм новая была. Потом стали нищим его добро раздавать, мнѣ его прежнюю подарили, с косым воротом, а я взяла да ночью в бурьян бросила, он помер в ней, как же мнѣ ее носить? А гроб шибко несли! Батюшка спѣшит, кадилом

взывает, а сам плачет, рыдает: Коля мой, Коля, что ж ты надо мной надѣлал! Как же я тебя своими руками хоронить буду? Лучше сана лишусь, а сам не могу! А я, убогая, глупая, свое думаю, свое вспоминаю, как меня самое хоронили.

— Как это тебя хоронили, Глаша? Что это ты говоришь?

— Хоронили, милый, хоронили. Всѣ архиереи собрались, всѣ священники. Везет меня Оська в степи, а тут рабочая пора вот-вот, всѣ косить пойдут, всѣ ржи сухія, желтыя, горячія — гляну, гляну, а им конца-краю нѣту, желтыя, аж глаза ломит, жар огнем душит, и нигдѣ-то ни души живой, ни голоса, будто всѣ на свѣтѣ смолкли, померли! Хлѣб стоит, горит, грач, и тот боком на дорогѣ сидит, бѣльма завел, закатил, огнем во весь зоб дышит. А я лежу, закрываю глаза и лежу, моча мухи, оводы ѣдят, а он как пьяный идет, качается, босиком в пыли мѣсит, нагнулся вперед, тащит меня, вся спина, рубаха от мух черная, пьют его пот... Он бы давно ограбил, убил меня в этой степи, в этот жар и зной, сам мнѣ это говорил, со сплоскими смѣялся, дурак, и никто бы на свѣтѣ ничего не знал, не слышал, она, эта степь, до самого моря идет, да что ж он мог ограбить у меня! Один дерюжный мѣшок с корками, с печеными яйцами, с мѣдными копѣйками. Что с меня, милый, взять? Я и задремала, только слышу вдруг — идут и поют, идут на нас по этим желтым ржам и все громче поют, всѣ в ризах в золотых, в черных, в серебряных... Я глянула, а они прямо на нас идут, хороните, поют, рабу Божию во блаженном успеніи, машут на меня горячим ладаном! Закричал тут Оська дурак не своим голосом и помчал бо весь дух куда глаза глядят — тѣм мы, папаша, и спаслись, тѣм только и спаслись, милый. А те бы давно мои косточки в землѣ гнили!

Ив. Бунинъ

1947 г.